

ВВЕДЕНИЕ.

Символизм был крайним выражением упадка дворянско-буржуазной интеллигенции,—декаданса, понимаемого далеко за пределами чисто литературного обозначения. В формах слишком рафинированного и больного сознания представителей ее он закрепил собою бегство ее от жизни в потустороннее. Пройдя свои высоты, символизм—в лице Белого, «серафического» и антропософски вещавшего, и Блока, прекрасный талант которого сгорал в трагических коллизиях,—обнаружил свое бессилие и обессилил читателя. Реакция против символизма развивалась в этой среде по двум линиям: декларации акмеизма и увлечения крестьянскими поэтами ¹⁾. По существу мы и тут видим то же романтическое бегство упадочника от реальности: в акмеизме, провозгласившем права земного и вещного, оно маскируется влечением к экзотике дальнего—земного (например, «Шатер»—поэтическая география Гумилева—и весь экзотический реквизит его творчества и проч.); в крестьянской поэзии, увлечение которой психологически знаменует собой для упадочника освежительный «выезд на

¹⁾ Здесь прослеживается связь явлений по признаку их **упадочности**; поэтому оставляется в стороне футуризм, в лице Хлебникова и Маяковского обнаруживший прогрессивные элементы, демонстрировавшие свою жизнеспособность и плодотворность и после Октября.

дачу»¹⁾—в деревенский пейзаж, в живописную вязь крестьянского слова и аксессуаров,—упадочник находит «экзотику» близкого—народного, в забвении лежавшую у него под боком²⁾).

Возможность свести крестьянскую поэзию на одну основу с символизмом и акмеизмом с точки зрения подхода к ней упадочного интеллигента хорошо дополняется с другой стороны объективной характеристикой ее: со стороны формальной она в лице последних и лучших своих представителей питается символизмом; по своему содержанию она отчетливо разветвляется в трех направлениях: 1) реакционная (Клюев), 2) промежуточная, относительно-революционная (Орешин и др.) и 3) упадочная, особенно обусловленная символизмом (Есенин).

Если Есенин и после Октября расходится в тысячах экземпляров и даже вызвал подражательное поветрие, то это является доказательством того, что в советскую обстановку, как неизбежное наследие прошлого, перекочевал некоторый контингент упадочника. Есенинщина, как и всякое иное буржуазное и мелко-буржуазное упадочничество, будут изживаться нами ровно в меру роста у нас факторов социалистической общественности.

¹⁾ «Я был потрясен—в полном смысле этого слова—той травяной свежестью, которая пахнула мне в лицо в этом душно (разрядки на протяжении всей книги мои. И. Б.) зале городской думы» признается Рюрик Ивнев по поводу первой своей встречи с Есениным в 1914 году и добавляет, что так же восприняли его появление Вяч. Иванов, Блок, Гиппиус и Мережковский («Об Есенине», сб. воспом. под редакц. И. Евдокимова, ГИЗ).

²⁾ Впрочем не совсем в забвении: символисты культивировали и у себя «народность»,—свою, конечно, интеллигентскую. Что же касается восприятия интеллигентом упадочником крестьянского, как «экзотики», то чрезвычайно характерно сообщение М. Бабенчикова, в сборнике ГИЗ'а об одном поэте (К. Ландау?), который именно так относился к Есенину. М. Бабенчиков высказывает предположение, что так же «относился тогда к Есенину и целый ряд лиц». Предположение это совершенно в духе нашего рассуждения.

Есенин подхватил линию Блока на ее спуске; Блок в его творчестве, соответственно культурному уровню Есенина, деградирует: Прекрасная Дама, которая в ресторанном обрамлении («Незнакомка и другие») уже у Блока явно пронизана чертами эротизма, превращается в проститутку; романтическая влюбленность—в нехорошую жестикуляцию пьяного тела, барахтающегося в сексуальном; стих Блока, в котором много новаторского приема, но есть и «романсовость», сползает здесь без всякого сопротивления в цыганский романс ¹⁾ и даже просто пьяный речитатив («Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту, сисястую,—она глупей» и др.). Героический грим

¹⁾ «Цыганско-гитарный» метко характеризует Есенина Маяковский («Н. М.» № 8—9—1926). О «Москве кабацкой» сам Есенин говорит в «Анне Снегиной»: «По чувству—цыганская грусть». В конце концов,—«цыганщина» была стихией, наиболее совершенно и полно покрывавшей песенно-одаренную, но поверхностную и в основном мелко-буржуазную натуру Есенина. В остальном ее характеризовало отсутствие самодовлеющего начала и энэргичная имитация опыта других, тех именно, кем он в данный момент был заражен. «Отраженность» натуры Есенина нашла наивно-ребяческое выражение в его отождествлении себя с Пушкиным, подчеркнутом имитацией не только внешности последнего, но и его «словоряда» и всей поэтической манеры (сравни, напр., хотя бы о музе и о себе—«Апостол нежный Клюев нас на руках носил» и «Старик Державин нас заметил» и т. д.). Но для будущего исследователя Есенина больший интерес представит зависимость его от символистов и в особенности от Блока, которым он был совершенно отравлен. Блока Есенин знал нанзусть, восхищался им, невольно подражал ему и неудачно восстаивал против него, бессильный преодолеть его в себе. Многие стихи Есенина (см. напр., «Опять раскинулся узорно» и др.) осуществляют блоковские ритмы и повторяют его словарь; «мятель», «вьюга», «дали», «дальний», «весна», «тот берег» и т. д.—в значении символов—от Блока («Аnte lusem» и «Стихи о Прекрасной Даме») и других символистов; «кто-то» —от них же и т. д. Даже гоголевская «Тройка», как

«крепкого» словаря никого не обманывает: он слишком размочен слезой; он не прием, он с предельной четкостью демонстрирует превращение организатора, «установщика»—в жертву, в не отвечающую за себя вещь.

К Есенину у нас определилось к настоящему времени несколько подходов, укладываемых в две формулы:

1) Есенин—человек, повисший между двумя эпохами;

2) Есенин—психически больной человек.

Первая точка зрения подается сплошь и рядом именно в таком виде, в каком она сформулирована выше, и не достигает индивидуального в Есенине. В самом деле—не один он в наше время был раздвоен, «повисали» и другие, но не все, «повиснув», действовали так, как он. Раздвоенность раздвоенности разнь: она может возникать на основе самой различной целеустремленности, в обстановке отнюдь не схожих по глубине и социальной ценности мотивов.

и все увлечение Гоголем,—через Блока (см. «Вопросы, вопросы и вопросы», «Дитя Гоголя» и стихи Блока). Сюда же относится и «Черный человек», в котором «диспропорция» содержания с мотивом двойника, так драматически насыщено поставленным у Достоевского (и Эдгара Поэ) и мотивом двойника с зеркалом («Двойник» Блока), вызывает совершенно комический эффект. Вообще поэтика Есенина (см. напр. словарный состав, «словарь» символов и т. д.)—по основной тенденции и характеру своих приемов, определяясь в одной своей линии словарем духовных песен, в самом существенном примыкает к приемам интеллигентски-символистического и иногда шершеневичски-имажинистского (смещение последнего с двумя-тремя образами, занятыми у Хлебникова и Маяковского, представляет из себя «Инония»; см. затем «Пугачева») стихотворного стиля и стиля цыганского романа. Успех Есенина, как поэта, претендующего на некоторую оригинальность, я объясняю исключительно сентиментально-вкрадчивым тоном его грустящей, плакальщицкой музыки и некоторой энергией его образотворчества, «эмоционально заражавшими» читателя-упадочника.

Формула слишком обща: раскрыть ее в конкретных фактах поэтической биографии и поведения Есенина, расшифровать ее на языке его жизни и творчества,—должно составить задачу того, кто хочет вплотную подойти к определению существенного в облике Есенина. Соответственную попытку делает в своей статье о Есенине Вяч. Полонский ¹⁾, принимающий за «основное содержание Есенинской лирики» и трагедии коллизию «города и деревни».

Мне кажется, что специфическая основа трагедии (и лирики) Есенина лежит вне этой коллизии, и что подход Вяч. Полонского неправомерно выдвигает вперед один момент творчества Есенина, являющийся, быть может, всего лишь поверхностным выражением более основного и определяющего в его поэтическом облике. И, во всяком случае, им заслоняются другие, не менее существенные моменты творчества Есенина; присоединение же их к нему вне более глубокого, объединяющего принципа, способного объяснить все в Есенине, неизбежно будет угрожать всей характеристике в целом «молекулярностью».

На достаточно абстрактной и патетической высоте удерживает нас и объяснение Троцкого ²⁾, сводящего трагедию Есенина к столкновению его интимного и нежного лиризма с суровым эпизмом катарсической эпохи ³⁾: мы выскакиваем и здесь за орбиту проблемы, поскольку остается ближайшим образом неопределенной социальная характеристика «лиризма» поэта. Еще дальше от Есенина по пути

¹⁾ «Памяти Есенина», Новый Мир № 1, 1926 г.

²⁾ «Памяти Есенина», сб. Всерос. Союза поэтов, М. 1926 г.

³⁾ К такой трактовке Есенина приближаются и В. М. Полонский и Воронский, когда первый говорит о «конфликте между поэтическим мировоззрением и действительностью» у Есенина, а второй о столкновении чаяния «от революции чуда-чудесного» с реальностью «кривых, окольных путей—дорог» (неп и проч.).

«поэтизации» отходит Городецкий ¹⁾, который видит в нем «последнего эстета (?) уходящей эпохи» и пытается объяснить катастрофу его через столкновение «идеалистической концепции» с реальностью. Нечего говорить о том, что «идеалистическая система образов» может служить еще в большей мере покрывающей символикой.

В общем и целом все эти три подхода не разрывают той завесы, которую воздвигает между нами и Есениным его поэтическая жестикуляция (поэтическая символика) и, в конечном счете, «поэтизируют» его так же, как поэтизировал себя он сам. Ближе подходит к Есенину Воронский ²⁾, в предельно-четкой рамке социально-исторического типа, к которому он относит Есенина, фиксирующий самое существенное в нем; из указанных Воронским черт мы запомним следующие: индивидуализм, доведенный в последние дни жизни Есенина до крайности, когда он «думает только о себе»; «общая неорганизованность»; «аморфность». Мы выдвигаем эти черты характеристики, данной Воронским, с одним коррективом, отвечающим нашему убеждению: этот крайний индивидуализм, с мыслью «только о себе», определяется, как основная пружина всего мироощущения и поведения Есенина с самого начала его литературного пути.

Вторая из приведенных выше основных точек зрения («психо-патологическая») соблазняет в особенности профанов, с неосторожностью подчас слишком стремительной становящихся «хозяевами» области столь сложной, как психиатрия. Мы знаем, например, с какой легкостью симулируя психопатолога, диагностировал недавно Есенина Крученых ³⁾, найдя у него корсаковский психоз. Исследование в этом направлении потребовало бы, конечно, работы специа-

¹⁾ «О Сергее Есенине», Н. М. № 2, 1926 год.

²⁾ «Об отошедшем», Кр. Новь №1—1926 г.

³⁾ «Черная тайна Есенина» М.—1926 г., изд. автора.

листа-психиатра, умеющего оперировать над материалом художественного слова.

Мы, с своей стороны, можем высказать только следующее предположение: в своем поведении и творчестве Есенин отличался определенной неуравновешенностью и избытком эмоциональности, достаточно примитивной; мы замечаем в нем черты регрессивного типа—некоторую инфантильность и высвобождение сексуального начала, в значительной мере подчиняющего себе его поведение; словом, мы можем характеризовать его, как невропата, со всеми мыслимыми к этому определению коррективами от руки специалиста; в последние годы у Есенина необходимо должна была развиться картина хронического отравления алкоголем. Но за всем тем мы должны отказаться видеть в нем те стойкие и глубокие разрушения личности—волевого начала или интеллекта, которые ставили бы Есенина по ту сторону понятия психической полноценности. Есенин—недисциплинирован, но со всем тем все его поведение, в течение всей его жизни, отличается одним и тем же характером, определяемым из установок, к которым мы вправе подходить вне всякой психопатологии,—исключительно с точки зрения их социальной значимости и ценности.

Прежде чем перейти к тому, что ближайшим и деловым образом касается моей задачи: определить «элементы» личности Есенина и его социальную характеристику, исходя из его творчества и воспоминаний о нем его друзей,—я сделаю несколько замечаний по поводу того мифотворчества, которым окружают личность Есенина не только его поклонники.

1) Легенда о Есенине, загубленном московской богемой (имажинистами) и легенда о нем же, загубленном символистах (1914 год), игнорируют обусловленность Есенина семейной наследственностью (наследственный алкоголизм?—см. воспомин. Устинова, сб. союза поэтов, и сообщение Есенина о де-

де ¹⁾ в предисловии к первому тому его стихов, издание ГИЗ'а) и той средой набожного и мелко-буржуазного крестьянского верха, в которой он вырос. Вся эта обстановка предопределяет раннее и вполне самостоятельное тяготение Есенина к романтике символизма ²⁾ и к той несдержанности по отношению к алкоголю и в области сексуального мотива, которой характеризуются в особенности последние годы его жизни и творчества ³⁾. Среди склонных придавать исключительное значение гибельному влиянию символистов на Есенина, мы должны, однако, выделить Г. Деева-Хомяковского, ⁴⁾ пополняющего наши скудные сведения о прошлом Есенина любопытными сообщениями. От него мы узнаем, что перелом периода „Москвы кабацкой“ был не единственным в жизни Есенина, что одна и достаточно знаменательная катастрофа была уже пережита им: появившись в Москве в 1912 году ⁵⁾, он, в годы 1913—14 близкий к общественной кружковой работе и к социал-демократам, через уклон в эс-эровщину приходит к лубочному

¹⁾ «Был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные *«невенчанные свадьбы»*. Быть может, с этим нужно связать признание Есенина: «Вырос я до зрелости, впуск купальской ночи» (т. I, ГИЗ., стр. 22).

²⁾ Тяготение это определенно намечается с самых первых, известных нам, стихотворных попыток Есенина: см. том I ГИЗ'а—первое стихотворение, романтический пейзаж с Есениным, стоящим у дороги, и третье с воробушками «сиротливыми», которым снится «прекрасная в улыбках солнца ясная красавица—весна».

³⁾ Есенин пил много уже с 1916 года. Мурашев сообщает, как в разрешении на винополковника Ломана, сблизившего Есенина с царским двором, он переделал 1 бутылку вина на 4 и 2 бутылки пива на 12. В письме к Мурашеву он пишет: «. . . . поговорить есть кое о чем, только уже без спирта, а то я спился-было совсем». (сб. ГИЗ'а).

⁴⁾ «Правда о Есенине», «На лит. посту» № 4—1926 г.

⁵⁾ По другим сведениям в 1911 году, см. И. Белоусова, сб. союза поэтов.

обряжению в „расшитые рубахи, плисовые шаровары и лакированные сапожки“ и в такой дворцово-патриотической декорации „под“ русского мужичка подвизается в салонах и царских покоях. Этот перелом, в период „ареста ряда товарищей и взятия многих на войну“ пишет Г. Деев-Хомяковский, заставил кружок „порвать окончательно с ним“ (Есениным).

2) Легенда о „затравленном“ Есенине, противоречащая всем фактам ¹⁾, относится к мифотворчеству того же типа.

3) Ему же кривенно служит повышенно-сентиментальный тон почти всех вышедших после смерти Есенина воспоминаний. Поведение Есенина иногда опускалось ниже порога социального поведения: не служа ни в какой мере выяснению личности Есенина, все эти „заставки“, рисующие „ветровую волю (?) и озорство деревенского молодняка“ (Никитина), исключительные свойства его улыбки (Мариенгоф, Ивнев), его „золотую голову“, глаза и проч.,—затушевывают подлинный социальный смысл его.

Мы видим в них отражение буржуазно-интеллигентского подхода к поэту: в подходе этом естественно-исчезает расценка поэта, как члена общества,—требование от него социально-организующего воздействия на читателя, а, следовательно, и собственной социальной организованности; подход этот в более глубоких корнях своих служит выражением индивидуалистического духа, склонного третировать социальное и ставить поэта над обществом.

В руках глашатаев его отношение к поэту легко сбивается на отношение к „хорошенькой“ женщине из изысканного буржуазного салона, в которой „все—мило“.

¹⁾ Замечания Троцкого, Полонского, Воронского и воспоминания друзей рисуют картины трогательной заботливости друзей о Есенине и достаточно мягкое отношение Советской власти к нему.

Несколько слов для тех, кому, быть может, будет неясно применяемое мною в дальнейшем понятие „комплекса недостаточности“.

Комплекс недостаточности. В настоящее время стало уже привычным различие двух сфер психического: области сознательного и бессознательного. Бессознательное—динамично: оно—силовой фактор, воздействующий на наше поведение. Человек появляется на свет с инстинктами: первичный среди них, по учению Адлера,—инстинкт самосохранения, который, расширяясь, принимает форму инстинкта самоутверждения. Культура шлифует, ограничивает инстинкты, сублимирует—поднимает на высоту социального служения. Там, где человек растет подавляемый нуждой, грубым, иерархическим—семейственным, сословным и государственно-бюрократическим началом (как это было до Октября в России и есть до сих пор в буржуазных странах Запада), там легко может развиться у него болезненное чувство своей слабости, ничтожества, малоценности, непрестанно поддерживаемое сравнением себя с находящимися в лучшем положении—более сильными, здоровыми, имущими, „могучими“.

Это в особенности касается мелко-буржуазных слоев,—в рядах индустриального пролетариата буржуазных стран развитие такого чувства ограничивается ровно в меру роста классового самосознания. В основе чувства малоценности, как мы видим, всегда—непреодоленный конфликт с социальной средой. В Советской России, неуклонно, шаг за шагом, идущей к социализму и окружившей детей уже в настоящее время условиями, в которых они ведут свою общественную жизнь и не подавляются грубым авторитетом взрослого, сделано, таким образом, уже многое, и в будущем будет сделано все для устранения условий, вызывающих возникновение этого чувства (малоценности). С чувством своей малоценности человек жить не может. У относительно сильного оно по-